

ТЕАТР А. Н. ОСТРОВСКОГО

*«Умереть уж лучше поскорей, за-
ходя. Все равно, ведь: разве свет-
то на таких порядках долго
простоит. А как отцы-то жили.
Куда они делись те порядки, ста-
рые, крепкие. Разврат что ли
в мире пошел. Так его и прежде,
пожалуй, еще больше было. Бес,
что ли, какой промежду людьми
ходит да смущает их».*

(Не все коту масленица.
Сцена 4-я. Явл. 3-е).

ТЕАТР И НАРОДНОСТЬ

В наши дни слово «народность» не употребительно. Сколько раз протестовали, возражали против этого слова, как туманного, неясного, начиная с сороковых годов, Когда громили славянофилов, до наших дней. Но от этого оно не по теряло своего значения. Что может быть серьезнее, чем выяснение духовной и физической личности, проникновение в тайник единственности каждой физиономии. Народ — то же лицо. Уяснить себе его, — разве это не великая задача?

Если лицо действительно обладает огромными духовными богатствами, если проявление их в жизни столь разнообразно, то художник будет искать самых различных поводов, чтобы показать это лицо. Захочется узнать все о нем.

Так поступал Островский, описывая свою Россию.

Конечно, его русские люди, его русская жизнь не такова, какой мы видели ее у других писателей, его современников, но в этом прелесть мастера. Живость красок, яркость речи, неожиданность положения увлекательны для изучающего этого писателя.

Прежде всего мы ценим в нем художника, дающего нам неисчерпаемое наслаждение убеждающей простотой своего вымысла. Мы не скрываем от себя, что драмы и комедии Островского не являются списками с русской жизни.

Мы прочитываем в Островском искусством созданную, вечную для могущих зажечься от прекрасного, Россию.

Всякое искусное произведение не мертвый слепок, не отражение в зеркале; между всяким произведением искусства и событием жизни можно поставить знак равенства.

То и другое живое, ни то, ни другое не подчинены друг другу.

Искусство — творчество из себя, а не повторение.

Мы не забываем того, что все сорок семь оригинальных произведений Островского написано в драматической форме и более того произведения для сцены.

Это глубоко национальное творчество писателя вместе с тем является и подлинным русским театром. Его сочинения не только произведения русской художественной литературы в драматической форме, но и первый законченный репертуар русской художественной сцены.

Мы не забываем того, на что указала научная критика о зависимости некоторых текстов Островского от своих русских литературных предшественников, как Капниста, Плавильщикова или водевилистов Николаевской эпохи, не забываем его близкого знакомства с репертуаром западно-европейской сцены, интерес к Скрибу и некоторую зависимость в двух-трех пьесах от него, интерес его к Теобальдо Чикони, Итало Франки, к де Бональдо, к Гольдони, к П. Джакометти, к Дюма, — и все же сильно чувствуем, что Островский — глубоко — национальный русский писатель драматург, укрепивший самобытные основы русской сцены.

Прежде всего я позволю себе небольшое отступление; я допущу как бы намек на сжатое размыш-

ление о различных задачах театра и драматической литературы.

В самом деле, театр — настолько самостоятельное искусство, что ему часто неинтересно создавать представление, воспроизводя живыми силами сцены гениальнейшее драматическое произведение, невыразимое сценой и, наоборот, прекрасная для театрального творчества инсценировка, очень сильно и искусно сделанный сценарий, напечатанный как самостоятельное литературное произведение, не имеет никакой ценности. Как произведение литературы это — грошовая листовка, как материал для сцены — прекрасная вещь.

Конечно я не беру крайностей. Я не хочу сказать, что малоценные в литературном отношении, но очень ловко сочиненные пьесы Скриба, как *Стакан воды*, или Адриенна Лекуврёр, тем не менее могут соблазнить театр вводить в репертуар эти вещи. Но с другой стороны постановка Бориса Годунова Пушкина, вряд ли даст широкое поле для творчества и подлинно сценическое художество при воплощении на подмостках мелких сцен этой пьесы. А кто же произнесет хулу на Пушкина? Чтение текстов моралите или мираклей отменяя от себя историко-литературную любознательность, утомит и подчеркнет ходульную условность текстов; воплощение их на соответственно построенной сцене даст подлинное наслаждение ценителю искусства театра.

Для театрального искусства нужен текст, сжато передающий необходимое словесное сопровождение действия. Все открывают характеры в их столкновениях с препятствиями, ставимыми жизнью или обнаружение целей, намерений действующих лиц на сцене, в их взаимоотношениях.

Театр группирует действие сообразно со своими силами. Он толкает жизнь, представляет свои чувства и думы, играя всеми силами жизни, которые в средствах его искусства. Но театр не терпит рассуждений, он не выносит пояснения подробностей в про исходящем.

Театр всегда показывает один разрез жизни. Спектакль не должен быть мозаическим. Какой-то один спектакль во всех актах единообразно обнаруживает людские страсти, отношения, самый быт жизни. Как бы бывает так, что одно какое-нибудь представление рассказывает своими образами и действиями о чем-то основном, проявляющемся в жизни вообще и в людях на протяжении всех явлений комедии или драмы.

Театр никогда почти не выполняет лирических подробностей и отступлений. Эпизодические лица ему мешают.

Совершенная драматическая форма Гетева Эгмонда, где характер и вся полнота замысла писателя выражена с положительной силой, на сцене должна была быть переработана. И Шиллер, знаток сцены, преобразовал трагедию.

Пьесы Федора Сологуба и Алексея Ремезова не поддаются сценическому выражению с намерением передать их дух и идею без сокращения, а иногда перестановок. А сами по себе, как литературные произведения, они по этичны и стильно-законченны.

Сцена ищет событий не столько для внешних происшествий, сколько для внутренних переживаний толпы или отдельных лиц, но эти переживания должны продолжать пьесу начавшуюся из происхождения и наполненную перипетиями.

Самым главным все же я считаю, что сцена, я бы сказал, односторонне показывает жизнь. Как в живописи можно передать только два измерения, на сцене

можно показать жизнь только в каком-то одном отношении: как бы сценически выразить жизненное явление. И как бы многообразно ни было изображено в драме явление жизни, оно сценически непередаваемо, если не соблюдены сценические условности в тексте.

Жизнь сцены, психология действующих лиц — искусное уловление в фокус театра громадной области живой жизни, которую показывает театр, воссоздавая ее в известном лишь отношении, рисуя людей и их деяния.

Оттого истинно-театральные драматурги, как Плавт, Шекспир, Гоцци, Мольер, Бомарше, Шиллер, Гоголь, зная природу театра, невольно сообщали и своим пьесам сценическую жизнеспособность¹.

Но жизнь и образы, данные ими в тексте, как бы рисунки пером, которые одеваются в плоть и загораются красками лишь на сцене воображаемой или еще лучше, хотя бы самой плохой, но все же действительной сцене с верно читающими текст актерами, показывающими ход пьесы.

Итак, люди в каком-то одном отношении друг к другу, жизнь в известном разрезе, условно не полная! Мало того, самый текст, дающий простор и материал актеру показать скрытое существо переживаний и происшествий! — все это должно брать в пьесах для театра.

И таковы пьесы Островского. Для него, как драматурга для театра, задачи сцены и задачи его литературных произведений слились. Именно со стороны формальной, они представляют обильный материал для суждений о поэтике Островского. У него совершенно особый склад и построение его комедий и драм.

¹ Не таков Гюго, Метерлинк, А. де Виньи, Тик, Пушкин и многие другие.

Не касаясь того, насколько Островский интересно взглянул на жизнь вообще и показал нам ее в ряде драматических эпизодов, не касаясь также и того, насколько верно он изобразил Россию и русского человека, — важно взглянуть попристальней на особенности построения пьес Островского и на характер его композиции вообще.

На первый раз звучит парадоксом утверждение, что театр Островского условен. Такие живые, полные силы и красочности произведения русской природы, прямо вырытые из родной почвы, наполняют тома его сочинений.

Кажется нелепым такой вывод не только потому, что чтение его пьес как бы окунет в самую гущу народной русской жизни: в быт купцов старого и нового поколения, в быт дельцов, чиновников, помещиков, мещан, крестьян, актеров, в быт старой Руси, — но еще более оттого, что целые поколения замечательных артистов создали живые характеры, заставили вникнуть в мучительные драмы жизни, насмеяться над чванливым и самодурным ничтожеством, раздувшимся как крыловская лягушка, понять тех людей, которых в простоте и безыскусственности увидел Островский рассыпанными по лицу земли.

И тем не менее сила Островского, этот первый русский театр, первый русский совершенно самобытный и в высшей степени разнообразный репертуар, заключается в том, что он условен и потому сценичен и театрально выразим.

О, я не думаю, чтобы артисты времени Островского имели право сказать, что сцена их времени наилучше выразила его пьесы.

Я не знаю, играют ли хуже или лучше артисты последних двадцати лет репертуар Островского срав-

нительно со своими предшественниками, но думаю, что если отдельные, лучшие артисты эпохи Островского тоньше и сильнее выразили красоту и правду пьес Островского, чем их эпигоны, то, как могу судить по критической литературе, современной Островскому, и по фотографическим воспроизведениям артистов в ролях его пьес, сцена, вся пьеса в целом, я бы сказал современным словом *постановка*, не выражала прежде, как часто и теперь, всей оригинальности и сложного мастерства этого национального русского драматурга.

ПИСАТЕЛИ И НАРОДНОСТЬ

Я не знаю, как теоретически определить, что такое народность, не знаю так же, как не знают этого и ученые, продолжающие писать обширные сочинения на тему о том, какие признаки входят в понятие национальность, но я живо чувствую в художественных произведениях выражение, поэтическое откровение народности.

Есть писатели, как Достоевский и Островский, у которых все пронизано стихией национальности.

Народно-уродливое и народно-божественное — предмет их поэтического созерцания и изображения. В их сочинениях целые пригоршни неопишуемых драгоценностей в области быта. Быт, этот ларец накопленного народом богатства, хранит все, укоренившиеся в данной среде и ставшие привычкой и необходимыми условиями жизни, приемы относиться к окружающему, к вещам и к людям; приемы относиться к себе, воспитанные семьей и средой, типовые,

генеративные приемы думать и чувствовать. — Все это составляет своего рода обряд, обиход нашей жизни; что, благодаря этому, создает и соответственную обстановку, вещи или семейную и общественную атмосферу; все, что не индивидуально — это быт. Это застывшая лава когда-то кипучей, вулканической природы личности.

Для этого вовсе не нужно ограничивать сферу своего наблюдения малокультурной средой. Черты определенного быта живут и в среде русской интеллигенции, есть интеллигентский быт, черты которого так тонко воспроизведены Чеховым и Достоевским. Независимо от того, что изображает каждый из этих писателей в жизни личности, которую он описывает, и независимо от того, какие вопросы он затрагивает, он изображает атмосферу быта, те условности, которые стали второй природой человека.

Не меньше черт быта, почти этнографически замечательных, дает в картинах дворянской жизни Лев Толстой, Тургенев и С. Т. Аксаков, в среде заволжского купечества Мельников-Печерский.

Перед читателем всегда стоит вопрос, что первенствует, что является преимущественной сферой наблюдения у поэта.

Причем вчувствоясь и входя аналитически в поэтическое настроение поэта, чуткий читатель невольно подпадает обаянию писателя и, идя за поэтом, знает, что главнее в той жизни, которую развернул перед ним поэт. А это и есть его мир, мир поэта, это и есть сопричастие читателя мирозерцанию поэта.

Не все писатели, создавая свои художественные произведения, увлекались проблемой народности.

Я понимаю это так. Например, Пушкин, Тургенев, Мопассан или Гете, глубоко народные художники, тем не менее не изображали, не искали в своих

героях, даже просто в эпизодических фигурах, ими написанных, каких-либо специфических своему народу свойственных черт. Они видели людей вообще. Конечно, их образы невольно были типичны для той страны и того времени, где и когда они жили.

Но читатель не видит устремленного тяжелого взгляда поэта на группу явлений или такие черты, которые давали бы материал народно-группового характера.

Лев Толстой, рисуящий такие неотразимые картины народной жизни, в сущности не интересуется национальным началом в людях, а, наоборот, его народные герои как бы наиболее интересуют читателя и, конечно, самого художника с их общечеловеческой основы.

Не таков Бальзак, не таков Диккенс и не таков Островский.

Само собой понятно, что они, став нашими избавниками, они, как корифеи искусства, растворяют те же проблемы красоты и добра в своих вещах, как и любой большой мастер в искусстве, но они сами, поэты этой последней группы, видят, как по преимуществу в национальном проявляется всечеловеческое, и потому пытливо созерцают причудливую игру национальной индивидуальности.

Таким философом-поэтом народной личности в сложных натурах и в запутанных событиях социальной жизни бесспорно является Достоевский. Наиболее трудная сторона для точного изучения и уразумения в нем, — именно эта сторона.

Ясный, простой и совсем не философический Островский, который с большим вкусом, огромным талантом и несомненным увлечением рисовал картины русской бытовой жизни.

Будучи психологом быта, он чувствовал народную личность. Он вырывал национальную основу тех лю-

дей, которых изображал; и в их национальном складе видел богатство человеческой природы или убожество человеческой природы, как таковой.

Народное заняло в его сочинениях очень видное место и сквозь народно-типические переживания он открыл новое в человеке и в жизни вообще.

Островский нарисовал единственные для всего русского искусства картины не быта, а нравственного мира, картины нравов коренных в России людей, разного душевного уровня.

Все четыре его драмы: «Гроза», «Грех да беда на кого не живет», «Не так живи, как хочется», «Бесприданница», или комедии: «Бедность не порок», «За чем пойдешь, то и найдешь», «Правда хорошо, а счастье лучше», в особенности ярки правдивостью разрешения драматической вины перед лицом народной мудрости. Значительно не только то, что каждой характер и речь колоритны и живы, как самые выразительные в своем роде, но, что в личности каждого и в совокупности условий, жизненных задач, его комедии и драмы — своего рода нравственная соизмеримость. И всякое уродливое и низкое требование, сложившийся взгляд так же, как и лучшие затаенные убеждения, глубокая вера, жажда подвига и нравственная высота в произведениях Островского вырастают из почвы, — все коренное. Он вырывает из народного материка целые клубы, глубоко лежащие в грунте, из которых выращивает жизнь причудливых растений. Оригинален Островский тем, что он видит то, что для других зарыто под непроглядностью сплошного и безликого народного материка.

Это я и подчеркиваю в Островском, как в художнике, сильно чувствующем народность, как в поэте, посвятившем себя народному началу. Из его сочинений мы узнаем, как думает, чувствует, действует

русская натура по преимуществу. Я вовсе не склонен полагать, что Островский этнографичен, но можно предположить, читая его, что людям, изображенным Островским, нет никакого дела ни до какой другой жизни и ни до каких других вопросов, кроме тех узких домашних дрызг и мелких личных интересов, той будничной пустяковины чисто бытового характера, которыми живут его герои и героини.

Но нужно быть на редкость невосприимчивым читателем, что бы не заметить, что люди Островского живут часто не тем, о чем говорят и что на этом его пестром житейском базаре не только торгуют и прицениваются, но маются той настоящей всем людям свойственной горькой жизнью, которая привлекает к себе читателей всего мира.

ОСТРОВСКИЙ НАРОДЕН

Читая Островского и наслаждаясь им, как великолепным выразителем русского народного искусства, мы видим в его сочинениях характерную цельность и законченность.

Поэтическому дару Островского не свойственна широкая и разносторонняя Тургеневская манера (объективное воспроизведение людей и жизни). В нем больше фанатической односторонности и богатого однообразия Достоевского.

Как Достоевский внутренне богат своим, собой, рассказываемым от себя, попутно, и в пояснение происходящему, идя за своими героями всегда в определенном роде, где бы их ни разыскал в подполье, на чердаке, в великосветской гостиной, на модном курорте, в монастыре, в господском доме, в остроге или

конспиративной квартире, так и Островский, во всех своих произведениях тоже всегда идя за своими героями, которые во всех его вещах в определенном единообразном роде, богат своей неотлучно в нем живущей народной мудростью.

Жизнь, изображаемая Островским, примитивна, нетрудного склада. В пьесах его почти отсутствует интрига; жизнь в его пьесах значительна по силе немого и страстного изживания ее героями, а не по тем выводам которые сделаешь, всмотревшись в результат, в достижения и цели участников жизни.

Он прав, выбирая для своих пьес названия из пословиц. Как пословица выражает нечто закоренелое, повторяющееся с жестоким постоянством в многообразной жизни людей, так те скрепы, которые конструируют действие пьес Островского примитивно всеобщи и печально ясны в натурах, избранных драматургом, и, будучи народно индивидуальны, вместе с тем человечески всеобщи.

Рисуя в своем воображении картины жизни по Островскому, мы не можем не представить себе небольших с чистыми цветными занавесками окошек, густо заставленных геранями и бальзаминами, не можем не видеть больших сундучиц с ясными и крупными цветами на крышках, открывающихся с пением и музыкой, трактиров с машинами и подносов с райскими птицами, расписных дуг, начищенной меди шлеек и колокольчиков тройки, не можем не слышать откуда-то издалека несущейся песни под аккомпанемент гитары, не задохнуться в душном аромате черемухи в овраге за калиткой, не видеть ровную гладь поемного берега Волги с белыми и розовыми колоколенками на горизонте, не слышать тишины в переулке, по которому тянутся заборы и крепкие домишки с узорными ставенками, не вообразить себя в кругу

вольных, радостных, как водные птицы русских девушек, среди смиренных, страстотерпиц, жен и матерей ищущих подвига, не почувствовать себя подхваченным угаром буйного и безудержного веселья гуляющих молодцов и беспардонного размаха кутящего барина, не почувствовать щемящей тоски и бесцельного устремления вперед какого-то монашка или бледнолицего мальчика, не учуять тьмы чинного, истового уклада купеческой или дворянской семьи. И красота, и сила, и безобразие, и слепота запестрят и замечутся со страниц сочинений Островского, как придорожные овраги и рощи, луга и нивы, дворы и околицы на бешеном лете тройки по извилистому большаку.

Островский народен не в каком-нибудь одном значении, т. е., например, что изображал типы и быт купцов наравне с поэзией благовеста и чином поучения свекрови или самодурство хозяина. Он удивительно верно понял природу русского человека в семье и на службе. Он русское национальное мелкое представил в чиновнике всяческого полета: от Юсова и Бальзаминова до Городулина.

Он представил Брускова («Не в свои сани не садись»), но он показал и Баробосева и Флора Федулывча Прибыткова.

И как в цепи стряпчих от Сысой Псоича Рисположенского до Досужева и Перцева захвачен русский человек в состоянии чиновника (чиновничья Россия), со всеми его оттенками, показанный в таком богатстве экземпляров, какое нам дал Островский, так и от Брускова или Большова или Гордея Торцова до Баробосева им дана делающая кривую изменения национальных черт домостроевской власти, облюбованной, освященной народом, коренно живущей в разных вариациях в семье русского народа. Островский дал целую галерею образов проходимцев и негодяев с типично

русскими чертами, я бы сказал народными задатками хищников и авантюристов, живущими радостью риска, как Дульчин, Паратов.

А прожектеры и дельцы, взятые в разрезе безобщественной, русской общественности и в разрезе их семейных отношений, откровенных признаний о их добре и зле? А русский театр и его меценаты, а благодетели и русская дворянская деревня? Островский все же выкопает такое закоренелое, такое довлеющее своей почве, столь знаменующее страну и народ, что невольно слишком очевидно в большинстве его пьес сложный психологический анализ отходит у автора на второй план перед любовным вскрытием крупных стежков народного покроя всей своеобразной русской жизни.

И от этого Островский зачастую сам в перечислении действующих сил, как бы совершенно сживаясь с жизнью своих героев, пишет: важный барин, богатая вдова, бесприданница, мелкий чиновник, девица благородного происхождения, как будто и он сам иначе не видит людей, как только по отметкам приказных, свах, половых или замоскворецких нянек.

МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В сочинениях русских писателей открываются яркие картины народной жизни. Вся русская литература — это исповедь в думах, исповедь о пережитом России.

Конечно, нельзя не видеть в каждом сочинении: перед нами замечательно интересное событие жизни, созданное писателем.

Каждая вещь такого писателя произведение искусства. Но он взял из жизни то, что вообразил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru